

Гражданская война в произведениях писателей-эмигрантов русского Харбина¹

Андрей Павлович Забияко,

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Амурского государственного университета, Благовещенск.
E-mail: sciencia@yandex.ru

Анна Анатольевна Забияко,

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы и мировой художественной культуры Амурского государственного университета, Благовещенск.
E-mail: sciencia@yandex.ru

В статье исследуется запечатление Гражданской войны на Дальнем Востоке в творчестве писателей-эмигрантов. Харбин рассматривается как культурный центр, где русские пытались сохранить свои традиции и воссоздать образ утраченной России, а также как город, предоставивший эмигрантам шанс остаться русскими и пережить, насколько это возможно, трагедию исхода. Проанализировано творчество Алексея Ачаира, Арсения Несмелова, Леонида Ещина, Марианны Колосовой и некоторых других писателей-эмигрантов, показавших в своих произведениях духовный мир русского человека, для которого Китай стал второй родиной.

Ключевые слова: Гражданская война, Китай, Россия, эмиграция, зарубежье, русская культура, духовный опыт, этничность, этнокультурная идентификация.

The Civil War in the works of expatriate writers of Russian Harbin.

Andrei Zabyako, Dr. Sc. (Philosophy), Amur State University, Blagoveshchensk.

Anna Zabyako, Dr. Sc. (Philology), Amur State University, Blagoveshchensk.

This article examines the historical experience of imprinting of the Civil War in the Far East in the work of expatriate writers. Harbin is regarded as the cultural center where the Russians tried to preserve their traditions and restore the image of the lost motherland, as well as the city that granted them the chance to stay Russian and survive, as far as possible, the outcome of the tragedy. It analyzes the works of Aleksei Achair, Arseny Nesmelov, Leonid Eschin, Marianna Kolosova and other expatriate writers, whose works shown the spiritual world of the Russian people, for which China became a second home.

Key words: the Civil War, China, Russia, emigration, Russian culture, spiritual experience, ethnicity, ethnic and cultural identity.

¹ Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ 12-21-21001 а (м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов».

Революция и трагические события Гражданской войны на Дальнем Востоке не только решительно изменили социокультурную, политическую, экономическую ситуацию в регионе, но и способствовали массовому исходу русских в соседние государства. Часть беженцев (около 200 тыс.) таким образом оказалась в Китае [1, с. 126], только в Харбине, по данным 1923 г., насчитывалось 165 857 русских [2, с. 94]. Среди новоявленных эмигрантов особенно много было тех, кто так или иначе участвовал в военных действиях — государственных, политических и общественных деятелей (Д.Л. Хорват, Н.Л. Гондатти, Н.В. Устрялов и др.), руководителей Белого движения (Г.М. Семёнов, М.К. Дитерихс, Б.В. Анненков), членов военных формирований Г.М. Семёнова, И.М. Калмыкова, Р.Ф. Унгерна, В.О. Каппеля и т.п. Как пишут историки, в большинстве своём это были люди, «почти со школьной скамьи попавшие на фронт Первой мировой войны, в течение долгих лет непрерывно воевавшие и не знавшие никакого другого дела и другой обстановки» [20, с. 8—15]. Судьбы их сложились по-разному: одни («непримиримые») продолжили борьбу с Советами, вступив в различные военно-политические организации (Г.М. Семёнов) или создав собственные вооружённые формирования (как, например, барон Унгерн); другие занялись обустройством своего эмигрантского быта, с трудом переквалифицировавшись в служащих и коммерсантов; третьи, не найдя себя в мирной жизни мещанского Харбина, погрузились в пьянство либо покончили жизнь самоубийством.

Но были среди них и те, кому «кровавый отблеск»² Гражданской войны осветил дальнейшую дорогу литературного творчества. Эти люди способствовали формированию неповторимого облика культуры дальневосточного русского зарубежья.

Будущие основатели харбинской литературы пережили долгую и мучительную дорогу в изгнание: из Омска — «столицы Сибири» — во Владивосток, затем, спустя два года, — через границу в Харбин. Многих из них пережили испытание страшным Ледяным походом. «Днём солнце — ещё терпимо, к вечеру же поднимался обычный резкий степной ветер. Мороз становился крепче. Зябли лошади, коченели солдаты. Далеко не все имели тёплую одежду.. Ночлег в тёплой избе — редко. Бивак у костра. Отмораживались... Картина, которую всё чаще и чаще видят те, кто идёт следом: замёрзшие люди — то в одиночку, то целыми группами, — крепко уснувшие у потухшего костра... И ещё — эпидемия тифа и самоубийств сопровождали собой весь путь отступления белых на восток», — вспоминал о беспримерных лишениях и муках белой армии И. Серебрянников [22, с. 37].

Среди тех, кто с армией Колчака, а затем атамана Семёнова всё дальше и дальше уходил на восток, было немало одарённых людей. Кто-то ещё до Первой мировой войны попробовал себя в писательском ремесле (А. Несмелов, Вс. Иванов), к кому-то вдохновение стало приходить в период «омского сидения» и в дни страшного Ледяного похода (Л. Ещин, А. Ачаир).

² «Кровавый отблеск» — название сборника А. Несмелова (Харбин, 1929).

Известно, что образование тех, кому уготовано было судьбой «разбудить поэтическую музу» [16, с. 65] Харбина, по сравнению с парижскими мэтрами зарубежья, оставляло желать лучшего. Так, Алексей Ачаир из-за революции не окончил полный курс Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, Леонид Ещин также не завершил учёбу в Московском университете и ушёл на Гражданскую войну [21, с. 675]. Арсений Несмелов, по словам Е. Витковского, получил образования «ровно столько, сколько могло оказаться у выпускника Нижегородского Аракчеевского корпуса» [4, с. 22], а затем «заканчивал университеты» Первой мировой и Гражданской войн. В общем, это были не те «дворянские мальчики» европейского зарубежья, объяснявшие «художественную сверхчувствительность» своего поколения «воинствующим влечением» искусства [18, с. 78—82].

Для становления писателей, прошедших путь поражений и потерь белой армии, переживших Ледяной поход, «воинствующим влечением» стал звук военной трубы, звон шашек, безоглядная вера в царя и Отечество. О подобных характерах Несмелов писал в «Рассказе добровольца»: «Российская эмиграция за два десятилетия своего бытия — прошла через много психологических этапов, психологических типов. Но из всех этих типов — один неизменен: тип добровольца, поднявшего оружие против большевиков в 1918 году. Великой бодростью, самоотвержением и верою были заряжены эти люди! С песней шли они в бой, с песней били красных, с песней и погибали сами» [17, с. 6]. «Восемнадцатому году» посвятит он и одноимённое стихотворение [19, с. 97]:

Хвала тебе, год-витязь, год-наездник,
С тесьмой рубца, упавшей по виску.
Ты выжег в нас столетние болезни:
Покорность, нерешительность, тоску.

Несмелов написал эти слова от имени всех русских, на чью долю выпали нелёгкие испытания той поры и кого он определил метафорой: «мы — дети восемнадцатого года». Его хвалу «году-витазю» каждый воспринимал и может воспринимать с точки зрения своих политических и нравственных ориентиров, но рубцы, оставленные 1918 годом, долгое время не заживали в сердцах воевавших как на красной, так и на белой стороне.

В молодой Советской Республике тема гражданской войны становится ведущей, появляясь в самых разных жанрах — от дневниковых записей (И. Бабель), рассказов и повестей («Партизанские повести» Вс. Иванов) до романов («Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и т.д.). В массовом сознании советской России исторические факты долгое время подменялись мифологизированным и романтизированным образом событий, воспетых «новыми красными Толстыми».

Но и на опыт бывших белопоходников, запечатлённый в художественной форме, современным исследователям, тем более историкам, очень трудно опереться в своих изысканиях. Как показывают наблюдения, эмигранты, вынужденные зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом, не спешат

ли писать о тех страшных днях, не обращались к воспоминаниям, чтобы воссоздать заново сцены ожесточённых боёв на дальневосточной земле. «Слабое зрение и слух, контузия, обморожена ступня», — сухо перечислял впоследствии полученные военные «трофеи» в анкете БРЭМ бывший полковник Грызов, более никогда о гражданской не писавший [ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Д. Грызова А.А. Л. 14.]. Этот доблестный офицер-доброволец занялся в Харбине организацией творческой молодёжи, стал русским секретарём ХСМЛ, руководителем поэтической студии «Чураевка». Стихи писал о любви, надежде и утраченной России, но ни строчки о пережитом в годы Гражданской войны [9]. Видимо, опыт был столь тяжёл, впечатления столь травматичны и нелегкоприятны, что вспоминать об этом бывшему полковнику не хотелось.

Истинным «ребёнком восемнадцатого года» и воспитанником Ледяного похода был Леонид Ещин [11, с. 255—286]. Если учитывать данные Е.В. Витковского, капитан Л. Ещин принимал участие и в «волочаевских днях», когда, как известно, белогвардейцы потерпели поражение. Затем оказался во Владивостоке, а потом перебрался в Китай. Судя по датам рукописных стихов, в Харбине он был уже с начала 1924 г. [3, с. 56—76]. Недюжинность не только таланта, но и человеческой личности Ещина признавались почти всеми знавшими его харбинцами. К сожалению, водка и кокаин привели к тому, что поэт погиб в самом расцвете, в традиционно-символическом возрасте, едва достигнув 33 лет.

В 1921 г. ещё во Владивостоке он издаёт «Стихи таёжного похода», навеянные «белой музой» [7]. Тематику и поэтику сборника определяет афористический эпиграф: «Зима, где кровь, / Зима без крова». Натуралистичность описаний, могильная семантика образов с самого начала передают мрачное ощущение безнадежности и обречённости тех, кто стал участником изображаемых событий [7, с. 3]:

Скрипя ползли *обозы — черви*.
Одеты грязно и пёстро,
Мы шли тогда из дебрей в дебри
И руки грели у костров.

Тела людей и коней навших
Нам окаймляли путь в горах.
Мы шли, дорог не разузнавши,
И стыли руки в стремях.
Тянулись дни бесцельной пыткой
Для тех, кто мог сидеть в седле,
И *путь по трупам незарытым*
Хлестал по нервам, словно плеть.

(Курсив здесь и далее наш. — *Авт.*)

Финальная строфа каждого стихотворения звучит трагическим аккордом, через библейские аналогии поднимает лирического субъекта над невыносимостью земного существования. Тягостное описание изнурительных будней Ледяного похода, реалистическое воссоздание лишений

бойцов (холода, бессонных ночей, осознания бесцельности всего происходящего) странным образом аллюзивно отсылает к блоковскому «Балаганчику», а завершается катреном, в котором мучения русских воинов уподобляются крестным мукам Иисуса [7, с. 3]:

Глазам в бреду бессонной муки
Упорно виделись в лесу
Между ветвями чьи-то руки,
В крови прибитые к кресту.

(«Скрипя ползли обозы — черви...»,
январь 1920)

В рядах измученных бойцов продвигаясь на восток («Прём к Востоку — / Бог помочь!»), герой постоянно оглядывается назад — на *запад*, на *закат*. Почти каждое стихотворение первой части начинается с упоминания об этом. Но если поначалу образы *запада* (*дома, прошлого, России*) и закатной *зари* подёрнуты романтическим флёрром: «На *западе розовом, как детство / Догорая, заря стояла*», то вскоре они наполняются кровавыми ассоциациями: «Конец заснеженных полей / *Закат покрасил красным*». А в конце первой части *заря* — традиционный образ юности и связанных с нею надежд — превращается в *заревое*. *Запад* становится символом смерти. Его отрицательная семантика усугубляется грубым физиологическим сравнением [7, с. 7]:

Как язвой, *заревом* запад заслан,
А небо стало угрюмо-сизым;
Занозой месяц заткнулся снизу
Напротив места, где солнце гасло.

(«Зарево»)

Первая часть сборника заканчивается стихотворением «Праздник», в котором вопреки всем испытаниям подвыпившие бойцы в «трещанье сосен» слышат «о надеждах гимн, / О счастье грядущих вёсен, / Где будет любой любим» [7, с. 9]:

— Пустяк, что зима сурова,
Пустяк, что в тайге ночлег;
Легко обойтись без крова,
Если в спирте растает снег!

— Враги! Морозы! Голод!
Мы стали сильнее вас всех:
Вам слышно, как, пьян и молод,
Дрожит над кострами смех?!

Но это лишь временная передышка, дарованная пьяной эйфорией. Заканчивается зима, но не лишения. Первая часть является прелюдией ко второй, где читатель целиком окунается в мир переживаний и разочарований повзрослевшего за год лирического героя. Тягостное ощущение «безвременья» нескончаемого и страшного, «безвременного» 1920 г. выражено

при помощи предлога *без*: в самих названиях-концептах («*Весна без радости*», «*Осень без скорби*», «*Зима без крова*»), в аналогичной внутрискорбной образности («*весна для нас без грёз, без сна*», «*ждать без конца*», «*без хлеба шли по хлебным всходам*») и эпитетах, словообразовательная модель которых имеет ту же общую основу («*безрадостная Пасха*», «*безлюбовная весна*», «*безрадужная весна*», «*и чужды всем, одни, безродны*», «*потом бессолнечную осень / безумных пьянств прошла нить*», «*беззвёздное небо*» и т.д.). Утрачена привычная для человека вера в весеннее обновление и продолжение жизни. Нагнетание слов с приставкой и предлогом *без* в стихотворном континууме всемерно эти чувства усугубляет — лирический герой со своими однопольчанами словно выпадает из времени [7, с. 14, 12]:

Под пулемётный грохот дробный
 Проходят годы, как века,
 И чужды всем, одни, безродны,
 Идём мы памятник надгробный
 Былой России высекать...

(«Зима без крова»)

...А кости старой падали надёжно огорожены
 Поскотиной дырявою, налёгшей на сосну.
 Ах, чёрт возьми, да надо ли, чтоб были мы заброшены
 На жизнь распрокорявую в поганую страну!

(«Забайкальский поход»,
 июль 1920)

В этой части сборника наиболее яркое звучание получит тема *непрожитой и поруганной молодости*, проходящая через всю книгу [7, с. 10, 13]:

Не с нашим сердцем деревянным
 Рыдать о прошлом покаянно
 И лицемерить у костра!
 Напрасно ищем мы — их нет здесь,
 Кому б рукою стан обвить:
 За обесчещенных возмездье —
 Весна, лишённая любви.

(«Весна без радости»,
 Пасха 1920)

Осень бесскорбная... Синяя осень.
 Небо спокойное нам не тесно,
 Скорби у осени разве попросим
 Мёрзлой душой, не увидевшей снов?

(«Осень без скорби»,
 октябрь 1920)

Скорбный календарь, «испещрённый» географией поражений и потерь отступающей Белой гвардии, представляет финальное стихотворение второй части — «*Год в походе (Двадцатый год)*» [7, с. 14]:

Двадцатый год со счетов сброшен,
Ушёл, изломанный, в века...
С трудом был нами он изношен:
Ведь ноша крови нелегка.

Практически каждый месяц в памяти лирического героя оставляет свою мрачную метку: январь — *промёрзший Кан*, февраль — *Байкальский лёд*, март — *трупы павших под Читой*; но ужас марта не сравним с апрелем: *«тот март теряется в апреле, / как Шилка прячется в Амур»* и т.д.

У современного читателя после прочтения «Стихов таёжного похода» Л. Ещина возникают настойчивые ассоциации с «Конармией» И. Бабеля, и это не случайно. В одно и то же время в самых крайних точках России в противоположных лагерях воюют два молодых человека, почти ровесники (Бабель был старше Ещина на три года). Один с конармией Будённого выбивает белых с юга, другой под натиском красных отступает с каппелевскими войсками всё дальше и дальше на восток. Один пишет полудневник, полуновеллы, другой создаёт дневник в стихах, позднее вылившийся в лирический сборник.

Третья часть «Стихов» — «Moriguri» — это похоронная месса по павшим товарищам, по погибшей юности поэта и утраченным мечтам, построенная по законам музыкального произведения. «De Profundis» — её кульминационная часть, чьё название отсылает к работе «De Profundis» С.Л. Франка, который размышлял об истоках национальной трагедии русского человека: «Подобно утопающему, который ещё старается вынырнуть, мы должны отрешиться от головокружительного, одуряющего подводного тумана и заставить себя понять, где мы и как, и почему попали в эту бездну. А если даже нам действительно суждено... погибнуть, то и тогда дух жизни влечёт нас погибнуть не в сонном замирании мысли и воли, а с ясным сознанием, передав векам и народам внятный, предостерегающий голос погибающего и чистое, глубоко осознанное покаяние» [23, с. 135].

Успел ли Леонид Ещин прочитать «De Profundis» — неизвестно. Но учитывая то, что «Стихи таёжного похода» редактировались и издавались во Владивостоке и третья часть сборника несёт в себе наиболее сильный отпечаток литературности, вполне вероятно, что с работой Ещин мог ознакомиться уже после Ледяного похода. Но типологическое совпадение переживаний и раздумий поэта и философа не вызывает сомнения [7, с. 18—19]:

Когда хромым, неверным шагом
Я приплетусь сквозь утра тюль;
Когда не враз, вразброд, зигзагом
По мне рванут метлой из пуль;
Когда метнёт пожаром алым
Нестройный залп на серый двор,
А я уныло и устало
Ударюсь черепом в забор, —
Тогда лишь только я узнаю,
Что составляет наш удел;
В небытие иль двери рая

Ведёт конец житейских дел.
*О Боже, Боже, даруй веры,
Чтоб ярко радостью гореть,
Вкушая ночью мук без меры
Перед расстрелом на утре!*

Словно замыкая нить философских рассуждений Франка, Леонид Ещин «из глубины» вновь обращается к Господу от лица своего измученного «я». И от лица каждого русского, пережившего ужас национальной трагедии.

Друг Леонида Ещина, уже упомянутый Арсений Несмелов, хотя и посвятит Гражданской войне целый поэтический сборник «Кровавый отблеск» (1928 г.), в этих и последующих лирических раздумьях на тему гражданской войны уйдёт от описания «кровавых дней» и обратится к историсофской проблематике: образу «полумонгола» Ленина, роли личности в истории («Две тени»), вине русской интеллигенции за происшедшее («Так уходит море...», «Русская мысль»). Но больше всего его будет занимать судьба частного человека; именно о нем — бывшем однополчанине, а сегодня — мытаре-эмигранте («Ловкий ты и хитрый ты...», «Встреча вторая»), о бывшем коллеге по цеху, а теперь — советском писателе («Встреча первая»), об ушедшем друге-поэте («Леонид Ещин») будет размышлять Несмелов в своей лирике (сб. «Без России», 1931). В этом смысле весьма показательным и его прозаическое творчество: он с большим желанием вспоминает о Великой войне, даже издаёт сборник «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936), но события гражданской междоусобицы не станут ведущей темой в рассказах. Почему и он, «дара фантаста лишённый начисто» (Е. Витковский), не станет черпать уже готовые сюжеты из воспоминаний о Гражданской войне? Очевидно, здесь можно обнаружить ту же логику, что действовала в советской литературе по отношению к недавней дореволюционной истории (включая события «империалистической»): «прошлого не существует» (Ю. Слезкин). К страшным дням Гражданской войны Несмелов вернётся только спустя 20 лет.

Но тот драматический период своей жизни и своего народа он всё равно будет воссоздавать не внешней событийностью, как в героико-романтических повестях метрополии, а сквозь призму социальных и психологических деформаций на уровне частного сознания («Поручик Такахаси», 1938; «Родимое пятно», 1939; «Наш тигр», 1941; «Трудный день поручика Мухина», 1942; «Людоед», 1942; «Всадник с фонарём», 1944). И красной нитью сквозь основную сюжетную линию в этих рассказах будет проходить проблема этничности и этнопсихологической рефлексии, проблема «русскости». В «Поручике Такахаси» русская братоубийственная война показана через её восприятие японцем — любителем русской литературы, читающим Толстого и Достоевского. Рассказ «Трудный день поручика Мухина» воссоздаёт один из дней бывшего добровольца, спасающегося от красных в чешском эшелоне. И хотя заканчивается произведение иронической инвективой рассказчика в адрес чехов (сентиментальных и чёрствых одновременно), лейтмотивом художественного повествования становится образ расстрелянных самими же русскими 12 собратьев — белых

офицеров, разутых и раздетых в сорокаградусный мороз, босиком бредущих на казнь и поющих себе «Вечную память». Данный рассказ военным бытовизмом, точно воссозданной атмосферой тех дней и одновременно библейским символизмом перекликается со стихотворением той же поры — «В Нижнеудинске». Оно посвящено встрече (возможно, придуманной поэтом) поручика Несмелова и уже арестованного адмирала Колчака [5, с. 190—201; 19, с. 169—170]:

И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг на миг в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.

Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них — Его черта,

Та складка боли, напряженья,
В котором роковое есть...
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.

Желание мифологизировать историю и своё в ней место становится характерной чертой, определяющей специфику художественного восприятия Гражданской войны писателями-эмигрантами [5, с. 190—201; 13, с. 54—55]. При этом процесс неомифологизации распространяется на самые разные объекты — от реальных участников военных событий до образов народной демонологии [14, с. 400]. Так, Арсений Несмелов посвящает балладу Унгерну («Баллада о Даурском Бароне») [19, с. 89—92], вплетая в текст бытующую в эмиграции легенду о мистических способностях Унгерна и его inferнальном спутнике — чёрном вороне [6, с. 190—201].

Как известно, поэтесса Марианна Колосова не воевала. Но большевики расстреляли её жениха и, по непроверенным источникам, отца-священника. Лирическая героиня горько оплакивает всех тех, кто не просто стал заложником социальных катаклизмов, но главное — отстаивал идеалы Белого движения. Идеализируя в духе житийной традиции, Колосова изображает их мучениками за святую Русь и оплакивает каждую жертву [10, с. 195—235]. Она создаёт новый иконостас русских святых, куда помещает, в первую очередь, Николая Второго («Два государя»), а затем — адмирала Колчака («Всё о том же...», «Не в этом ли году?»), генерала Кутепова («Кутепов»), барона Унгерна, Бориса Савинкова («Бунтари»), а также многих лично ей дорогих людей — «далёкого Атамана» («Не сердце, а солнце»), «Владимира Р.» («Улыбка смертника») и совершенно не знакомых, но отдавших жизнь за Родину — «погибшего за Россию», «нелегального», «беглеца» и др. Как видно, данный агиографический список отражает и географические координаты тех событий, что стали источником лирических откровений.

Истоки национальной трагедии, положившей начало бесчисленным жертвам Гражданской войны, монархистски настроенная Колосова видит в низложении Николая II, а затем — в его чудовищном убийстве. В стихотворении «Два государя» трагическая смерть последнего русского императора осмысляется поэтессой в сплыве балладной похоронной песни, духовного стиха, исторической песни, наполняемых житийными клише [15, с. 10]:

Вышел французский король Людовик
Навстречу Николаю Русскому царю.
«Брата моего встречу с любовью
И двери ему отворю».

Ласковы Апостола Петра очи,
Ключи от рая у пояса звенят.
Русский царь из чёрной ночи
Входит в пресветлый райский сад.
Лицо — северного снега бледнее,
Глаза — великой тоскою горят..
И даже Пётр апостол, робея,
Отшатнулся от скорбных глаз Царя.

(«Два государя»)

В годы Гражданской войны особое распространение получили *причеты* — один из жанровых подвидов причитания, непосредственно связанный с рекрутской и солдатской тематикой. *Рекрутская причета* — это плач по мужу, любимому, брату, уход которых на военную службу фактически приравнивался к смерти. Гражданская война «рекрутировала» на свои поля не одну тысячу русских жизней:

Над чужой печалью
Душу надрывая,
Я свои потери
Вновь пересчитаю...

В результате образы погибших близких приобретают обобщённый характер многочисленных жертв кровавой российской междоусобицы [15, с. 23]:

Ах, волос любимых
Золотые пряди
Ветер поразвевял
Где-то в Петрограде!

А в родное сердце
Вражеская пуля
Врезалась случайно
Где-то в Барнауле!

Лирическое «я» в причетах вырастает до символического образа Руси-женщины, оплакивающей своих друзей, любимых, отцов, братьев, чьи жизни были украдены революционным лихолетьем («А погибших близких / Всех не перечислить»). Наряду с архаическими формами устойчивых для

причетов эпитетов — «горестные мысли», «золотые кудри» — появляется образ, сочетающий традиционное определение врагов и их историческую конкретизацию: *злые мадьяры, вороги в Нарыме*. Вероятно, под первым — полусказочным — именованим подразумеваются красные венгры под предводительством легендарного Белы Куна, бесчинствующие в те годы на Дальнем Востоке. Образ же *ворогов в Нарыме*, хотя и построен по традиционной модели (ср., *басурманы, вороги* и т.д.), но ещё более конкретен. Он обозначает своих же, русских, но — красных, и потому — врагов, может быть, ещё более жестоких [8, с. 205—215].

На реальность и масштаб переживаемых Колосовой событий указывают топографические реалии (наименования городов, рек, стран, гор). «Я свои потери / Вновь пересчитаю», — начинает героиня трагическую географию утрат в «Причетах» и продолжает её в других стихотворениях [15, с. 35—36]:

*Сижу, облокотясь на шаткий стол,
И слушаю рассказ неторопливый:
Про Петропавловск, про Tobол...
Я вижу берег синей Ангары,
Потом глухие улицы Читы...*
(«Всё о том же»)

Словно с высоты птичьего полёта, объемлет взор лирической героини российские просторы, охваченные бедой: *Петроград, Петропавловск, Вологду, Tobол, Соловки, Нарым, Барнаул, Читу, Хор* (станция под Хабаровском, где течёт одноимённая река), *Амурские воды, Трёхречье* и т.д. При этом она словно заново проходит весь путь поражений белой армии. И для читающих стихотворение харбинцев российские реалии постепенно сужались, приближаясь к сибирским и дальневосточным пределам, напоминая о недавних военных событиях, о Ледяном походе, о том, что война не закончена, но надежды на победу постепенно умирают [15, с. 36]:

*И дальше слёзные и бледные страницы:
Гензан... Гири... Сумбурность Харбина.
Молящие измученные лица.
Спокойствия! Забвения! Вина!
Возврата больше нет назад...*

В сборнике «Господи, спаси Россию!» Колосова очень близка к лирической рефлексии М. Цветаевой времён «Лебединого стана». Сопоставляя художественную образность, композиционное строение этих книг, названия отдельных стихотворений, можно обнаружить несомненное сходство в обращении поэтесс к фольклору, к народно-песенной стихии и синтезированию этих приёмов со страстной гражданственностью, даже брутальностью. Однако известно, что цикл М. Цветаевой, законченный в 1921 г., не мог быть известен М. Колосовой, т.к. был опубликован лишь в 1958 г. в Мюнхене.

А. Ачаир, А. Несмелов, Л. Ещин, М. Колосова и некоторые другие писатели-эмигранты в своих произведениях выразили духовный мир русского человека, выброшенного войной на чужбину, в Китай [12]. Харбин стал

одним из тех анклавов, где русские пытались сохранить традиции родной культуры и воссоздать образ России. Китай и, в особенности, Харбин предоставили эмигрантам шанс остаться русскими, пережить и изжить, насколько это возможно, трагедию исхода.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М.: НП ИД «Русская панорама», 2004. 432 с.
2. Весь Харбин на 1923 год / под ред. С.Т. Тернавского. Харбин: Тип. КВЖД, 1923. 453 с.
3. Витковский Е. Спи спокойно, кротчайший Лёнька!.. // Ешин Л. Собрание стихотворений. М.: Водолей Publishers, 2005. 80 с.
4. Витковский Е. Формула бессмертия // Несмелов А. Собрание сочинений: В 2 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», Т. 1. 2006.
5. Дябкин И.А. Мифологизация образа Колчака в литературе метрополии и эмиграции // Русский Харбин, запечатлённый в слове. Вып. 4. К 70-летию проф. О.И. Федотова: Сб. науч. работ / под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010.
6. Дябкин И.А. Письма барона Р.Ф. Унгерна фон Штенберга (религиозные, философские и политические взгляды Унгерна) // Религиоведение. 2012. № 1. С. 203—209.
7. Ешин Л. Собрание стихотворений. М.: Водолей Publishers, 2005. 80 с.
8. Забияко А.А. «Слово моё — разящий меч»: феномен религиозно-художественного радикализма // Религиоведение. 2013. № 1. С. 205—215.
9. Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. Монография. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2005. 436 с.
10. Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Меж двух миров: русские писатели в Маньчжурии. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. 352 с.
11. Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы...» (художественный мир лирики русского Харбина). Научное издание. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. 434 с.
12. Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкротова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. 412 с.
13. Забияко А.П. Мифологизирование истории // Культурология. XX в. Энциклопедия: В 2 т. Т. 2. СПб.: Университетская книга, 1998. С. 54—55.
14. Забияко А.П. Ремифологизация // Религиоведение. Энциклопедический словарь. М.: Изд-во «Академический проект», 2006.
15. Колосова М. Господи, спаси Россию! Харбин, 1928. 68 с.
16. Крузенштерн-Петерек Ю. Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах) // Возрождение. № 204. 1968. С. 45—70.
17. Луч Азии. № 7. 1937.
18. Набоков В. Другие берега; Пастернак Б. Охранная грамота. О закономерностях формирования сверхчувственных интуиций этого поколения: Забияко А.А. Синэстезия: метаморфозы художественной образности. Благовещенск, 2004. С. 78—82.
19. Несмелов А. Собрание сочинений: В 2 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», Т. 1. 2006.
20. Поляков Ю.А. Проблемы эмиграции и адаптации в свете исторического опыта // Новая и новейшая история. № 3. 1995. С. 8—15.
21. Русская поэзия Китая: Антология / сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич. М.: Время, 2001. 720 с.
22. Серебренников И.И. Великий отход. Рассеяние по Азии белых армий, 1919—1923. Харбин, 1933. 346 с.
23. Франк С.Л. De Profundis // Из Глубины: сб. статей о русской революции С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева и др. М. Пг., 1918.
24. ГАХК (Гос. арх. Хабаровского края).